

# содержание

*О.С. Никольская* об этой книге.....6

предисловие..... 13

никто нигде ..... 16

послесловие .....215

эпилог .....221

*Очерк языка «моего мира»* ..... 226

*Несколько подсказок*..... 233



## ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Эта книга имеет много адресатов. Многих она увлечет, потому что дает обычному человеку возможность почувствовать, что переживают люди с аутизмом. Позволяет ощутить не только их потерянность в мире «нормальных» отношений, но и очарование волшебного чувства пустоты и полноты растворения в ощущениях тела, звуках, ритмах, кружении, в разноцветных пятнах, узорах букв, слов, орнаментов. И описания этого «упоительного небытия», наверное, не одного вполне «нормального» человека вернет к воспоминаниям собственного раннего детства, заставит испытать родственные чувства: «я сам такой». Вместе с тем, воспринимая эту книгу как помощь в понимании, что такое аутизм, мне кажется, надо учитывать, что эти яркие и точные воспоминания написаны и систематизированы человеком, много читавшим и думавшим, то есть представлены нам уже в соответствии с определенными теоретическими установками автора.

Мы найдем здесь и послание к специалистам, старающимся пробиться к аутичным детям – не думайте, что их можно просто научить правильно вести себя, у них есть основания вести себя плохо, и, продвигаясь в социализации важно учитывать эти основания и искать компромисса. Человек, вырвавшийся «из ниоткуда» говорит нам: будьте твердыми, не оставляйте попыток, вы нужны и работаете не зря, но будьте и терпеливы, сохраняя внешнюю сдержанность и отстраненность, вы поможете детям самим стать более активными в контактах. «Спокойное присутствие рядом, не глядя на меня, может быть, даже повторение моих действий в нескольких футах от меня и без всяких попыток обратиться ко мне напрямую – все это я восприняла бы как знак понимания того, что я пытаюсь сообщить, и это придало бы мне надежды и отваги». Важно и то, что здесь показывается: просто установлением контакта наша работа не исчерпывается, даже самому умному ребенку с аутизмом для раз-

вития нужен постоянный переводчик, подсказчик в осмыслении происходящего.

Читая эту книгу, наверное, все мы, в первую очередь, будем напряженно следить за развитием реальной драматической истории отважного ребенка растущего в очень тяжелых и враждебных жизненных обстоятельствах, в чрезвычайно травматических отношениях с мамой. Эту историю легко прочитывать и понять традиционно по-диккенсовски: жестокая мать, ребенок, физическое насилие. Все так, но и гораздо сложнее, большее – они обе отвергнуты, и это их общее глубокое несчастье, унижение от невозможности пробиться друг к другу, отчаянное стремление матери, пусть сломав дочь, но вбить ее в рамки «нормального поведения», и стремление дочери доказать, что она не ненормальная и сама не пропадет. Дочь ничего не прощает, но и помнит момент, когда «она, наконец, заплакала обо мне», что мама искала школы, сняла квартиру, позвала в отчаянный момент домой.

На основе жестокого опыта своего детства Донна Уильямс пытается определить, какую любовь близких она могла бы принять, какая стала бы ей поддержкой. Поэтому эта книга адресована и семьям, воспитывающим похожих детей. Она думает, что это должна быть умная, терпеливая и уважительная любовь-забота и симпатия, не требующая непременно немедленной взаимности, бережно принимающая, но «твердая», с разумными и четкими запретами. «Мне совершенно не требовалось, чтобы меня любили до смерти»; «если любящие родители смогут отстраниться, насколько это возможно, от собственных эмоциональных потребностей и общаться со своими детьми соответственно тому, как сами дети воспринимают мир – тогда, быть может, эти дети обретут уверенность и отвагу... Помогите им, не вторгаясь в их жизнь – и дети поверят, что вы принимаете их такими, какие они есть, и там, где они сейчас находятся..».

Помимо реальной истории трудного взросления ребенка мы считываем здесь и историю внутреннего становления души, узнаем, каково это было, когда «душа выбирается из мусора и встает на путь самоопределения». Это история поиска себя и выхода из своего мира в мир других людей, но «на своих условиях», и, думаю, что чувство собственного достоинства, которому мы сопереживаем, не мо-

жет не вызывать глубокого уважения. Энергия самоутверждения питается здесь, конечно, не только желанием доказать свою состоятельность матери и брату. Донна Уильямс стремится в реальный мир, который считает чужим, и потому что уже любит его: небо, землю, деревья, траву, цветы, музыку. Любит «стеклянные окна, в которых можно увидеть себя и помахать себе рукой», маленькую девочку, которая с ней разговаривает, ножки стульчика этой девочки и ее маму, которая кормит ее угрем.

Также и с людьми, с ними воевала маленькая перепуганная девочка, но она же, и тянулась к ним, отзывалась на их симпатию. А людей, пытавшихся «до нее достучаться», тех, кому нравилось то, что нравилось ей, все-таки было много: бабушка и дедушка, отец, тетя, соседские дети и их мамы, девочки в школах, учителя, доктор, и, чтобы не говорилось, она, понемногу, училась принимать их дары. Донна Уильямс запоминает и называет в этой книге, наверное, всех, кому была интересна, кто помогал, учил, кормил, давал приют. Призывом для нее стала и беспомощность маленького брата, желание его защитить. То есть и здесь, в этой жестокой и жесткой истории взросление души движется любовью. Бывает ли по-другому?

О. С. Никольская,  
*д-р психол. наук, зав. лабораторией  
Института коррекционной педагогики РАН*

*Шерон, моим дедушке и бабушке, и всем Лоури мира сего –  
просто за то, что вы есть.*

*И отдельное спасибо доктору Лоури Бартак и Морганам –  
за то, что помогли мне улучшить качество связи.*



В комнате без окон,  
В обществе теней,  
Ты знаешь: тебя не забудут,  
Тебя возьмут с собой.  
Потрясенная,  
Не спрашивай, важно ли это,  
Не позволяй этому тебя расстроить –  
Просто начинай сначала.

В мире под стеклом  
Смотри, как мир проплывает мимо.  
Никто здесь тебя не тронет,  
Ты думаешь, что ты в безопасности.  
Но что, если холодный ветер  
Повеет в глубинах твоей души,  
Пока тебе кажется, что никто не причинит тебе боли –  
И будет дуть, пока не станет слишком поздно?

Беги, пока не упадешь –  
Умеешь ли ты останавливаться?  
Все проходят мимо,  
Ты машешь им вслед.  
Они просто улыбаются –  
Ведь ты похожа на ребенка,  
Они видят твои слезы,  
Но никогда не поймут, что ты плачешь из-за них.

Так послушай моего совета –  
Не обращай к специалистам  
И долго не раздумывай.  
Просто прислушивайся,  
Беги и прячься  
В уголках своего сознания,  
Одна,  
Как никто нигде.

Эта книга – история двух битв: одна – за то, чтобы не подпускать к себе «мир», другая – за то, чтобы с ним соединиться. Она рассказывает и о боях внутри «моего собственного мира», и о стратегии, тактике и боевых потерях в ходе моей личной войны с другими.

Эта книга – попытка перемирия на моих условиях. В своей личной войне я была «она», «ты», «Донна», – и, наконец, «я». Теперь все мы расскажем о том, каково это было – и каково это сейчас.

Если вам нелегко меня понять – не удивляйтесь, так и должно быть. Добро пожаловать в *мой мир*.



## предисловие

Книга «Никто нигде», впервые изданная в 1991 году, стала международным бестселлером, заняв первое место по продажам в США, Канаде, Японии и Норвегии. Пятнадцать недель она оставалась в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и была переведена на 20 языков. «Никто нигде» прочли миллионы «обычных людей», а также и те, кто находится на периферии общества. По иронии судьбы, мужчины и женщины по всему миру, увлеченные моей историей, благодаря ей обретали голос – мой рассказ помог им понять о себе те истины, которые обычно скрываются от глаз и порой загоняют нас в ловушку. Издание моей книги – и многих других книг, для которых моя стала предшественницей – привело к серьезным изменениям в лечении, обучении и статистических исследованиях людей с трудностями развития и помогло запустить на мировом уровне общественные, политические и культурные перемены в отношении к аутизму.

Несколько лет после издания моей книги люди еще продолжали верить, что аутизм чрезвычайно редок, что он поражает лишь четверых из десяти тысяч. Существовал стереотипный образ аутиста – угрюмый, замкнутый, лишенный речи мальчик из среднего класса. Считалось, что 90 процентов людей с аутизмом страдают тяжелой умственной отсталостью, что аутисты неспособны ни к эмпатии, ни к близким отношениям.

Само слово «аутизм» было почти под запретом: с трудом оно пробивало себе путь сквозь Беттельгеймову теорию «матери-морозилки» (предполагалось, что причиной аутизма у детей становятся их матери – эмоционально холодные работающие женщины из среднего класса). Многие, кому в 1960-х годах ставили диагноз «аутизм» или «психоз раннего возраста», с младенчества попадали в специализированные заведения; или, если по мере взросления им удавалось «выправиться», – ничего не знали о «грязной тайне» собствен-

ного диагноза и зачастую никогда в жизни не встречались с «другими такими же».

Уже была переведена на английский книга Ханса Аспергера, и первые диагнозы синдрома Аспергера уже маячили на горизонте. Однако новые средства коммуникации еще не открыли нам мир, в котором люди, неспособные говорить, могут быть «не глупее других», требовать равенства и уважения к своему достоинству. Не было чатов, форумов, блогов, многолюдных конференций по аутизму, какие есть сейчас. После выхода в свет «Никто нигде» толпы людей бросились к психиатрам и психологам со словами: «И я такой же!» Мне приходилось слышать о тех, кто прожил долгие годы в специальных заведениях, терпел дурное обращение, был бездомным или хронически безработным. И о тех, кто делал первые шаги в общении с людьми, печатая записки на пишущей машинке.

Прошло несколько лет – и диагноз синдрома Аспергера начал ставиться на каждом шагу: наступила эра упрощенного представления о «высоко-функциональных» и «низко-функциональных» людях с аутизмом. В то же время появились книги, написанные людьми с аутизмом, не способными говорить – и бросили вызов многим распространенным представлениям о «низкой функциональности».

Скоро само понятие «аутист» двинулось в том же направлении, что и понятие «глухой», разделившееся надвое: «глухими» с маленькой буквы называют тех, кто пользуется слуховыми аппаратами и речью, «Глухими» с большой буквы – тех, кто заменяет звуковую речь жестовой и, как считается, образует особую культуру. Так и среди аутистов выделились те, кто считает свой аутизм неотъемлемой частью собственного «я» и приветствует его, – и те, кто относится к нему как к состоянию, с которым нужно бороться. Эта разница отразилась в том, как они начали себя называть – «аутисты» или «люди с аутизмом». Были и «неопределившиеся» – те, кто жил на границе двух миров.

Среди людей с синдромом Аспергера были и те, кто не хотел, чтобы с ними связывали ярлык «аутизма», и те, кто начал видеть в «аутичности» политическую и культурную реальность; последние зачастую яростно протестовали против любых попыток лечения или исправления аутизма. В век интернета сформировались сетевые

организации, в которых страстно обсуждаются права «аутичных» людей.

Старые стереотипы умерли быстрой смертью – но на смену им приходили новые. По мере того как низко-функциональные аутисты демонстрировали большие способности, а высоко-функциональные рассказывали о сложности некоторых стоящих перед ними задач, жесткое деление на высоко-функциональных и низко-функциональных размывалось.

Появился термин «РАС» – расстройства аутистического спектра: так аутизм, синдром Аспергера и НПНР (неспецифическое первазивное нарушение развития) впервые были объединены в одну группу. Вскоре это сокращение заменилось другим – САС (состояния аутистического спектра), а затем и просто АС (аутистический спектр). «Никто нигде» написана на заре эпохи, в течение которой мы шли от пуризма к многообразию, от единых «безразмерных» категорий – к холистическому взгляду на аутизм как на еще один, необычный облик многоликой «нормальности».

«Никто нигде» написана через год после того, как в 1989 году биомедицинское вмешательство (в то время мало кто знал о его применении в области аутизма!) начало пробуждать меня и склеивать части моей личности. Я написала ее за четыре недели, после самоубийственного опыта влюбленности в Сиона – свое «зеркало» из реального мира; впервые в жизни, ибо до того все отношения у меня возникали и разыгрывались во «внутреннем мире». Первым мою рукопись прочел доктор Себастиан Кремер, детский психиатр из Великобритании. Возвращая ее мне, он спросил, что я собираюсь с ней делать. Изорву и сожгу, ответила я. Он спросил, не разрешу ли я вместо этого переслать рукопись его коллеге. Коллега передала ее своему издателю, тот – литературному агенту, а затем я получила факс с просьбой о разрешении ее напечатать.

Для меня «Никто нигде» – книга о том, как душа выбирается из груды мусора и встает на путь самоопределения. Надеюсь, «Никто нигде» заставляет читателей задуматься о равенстве и человеческом достоинстве «маргиналов»; а тем, кто потерял, напоминает: даже если никто не в силах спасти нашу душу, всегда остается надежда, что мы сможем помочь себе сами.

## НИКТО НИГДЕ

Помню свой первый сон – по крайней мере первый, который мне запомнился. Я плыла сквозь что-то белое: никаких предметов, только белизна – и пятна ярких цветов, окружавшие меня со всех сторон. Я проплывала сквозь них, а они – сквозь меня, и от этого я смеялась.

Этот сон я увидела раньше всех остальных, в которых мне снилось дерьмо, люди или чудовища – и, конечно, раньше, чем заметила разницу между первым, вторым и третьим. Должно быть, мне не было и трех лет. В этом сне отразился мой мир – каким он был тогда. После пробуждения я неотступно искала этот сон и пыталась его вернуть. Я подставляла лицо под потоки света, льющегося из окна в мою кровать, и яростно терла глаза. Вот они! Яркие цветные пятна на белом. Слышится: «Прекрати!» Я не обращаю внимания на эту помеху и весело продолжаю. И получаю шлепок.

Я обнаружила, что воздух полон пятен. Смотришь в пустоту – и видишь пятна. Мимо ходят люди и мешают мне заглядывать в волшебную пустоту. Я не обращаю на них внимания. Люди – это просто помехи. Я сосредотачиваюсь на желании затеряться в цветных пятнах: помех не замечаю – смотрю сквозь них, спокойно и удовлетворенно, чувствуя, что уже теряюсь, растворяюсь... Шлепок! Так я узнаю, что такое «мир».

Со временем я научилась растворяться во всем, в чем захочу – в узорах на обоях или на ковре, в повторяющихся звуках, в том глухом звуке, что слышится при похлопывании себя по подбородку. Даже люди перестали мне мешать. Слова их стали бессмысленным бормотанием, голоса – узором из звуков. Я научилась растворяться, глядя сквозь них – а потом и растворяться *в них*.

Слова людей мне не мешали – мешало другое: люди ждали, что я им что-нибудь отвечу. Чтобы отвечать, нужно понимать, что тебе говорят – а мне слишком нравилось растворяться в пустоте, чтобы возвращаться назад ради какого-то убогого восприятия речи.

Вот слышится окрик:

– Ты что это делаешь?!

Я знаю: чтобы избавиться от этого шума, надо дать правильный ответ. Иду на компромисс – повторяю: «Ты что это делаешь?», ни к кому конкретно не обращаясь.

– Хватит повторять все, что я говорю! – сердится голос.

Чувствуя, что надо как-то отреагировать, я отвечаю:

– Хватит повторять все, что я говорю!

Шлепок! Непонятно, чего они от меня хотят?

Первые три с половиной года жизни вся моя речь состояла из повторения чужих слов, вместе с тоном и интонациями тех, кого я позже стала называть «миром». Мир казался нетерпеливым, злым, грубым и безжалостным. И я научилась соответственно ему отвечать – кричать, визжать, убегать, просто не замечать.

Однажды вместо того, чтобы просто «услышать» фразу, я по-настоящему поняла, что она имеет для меня значение. Мне было три с половиной года. Родители взяли меня с собой в гости к каким-то своим друзьям. Я вышла из гостиной в прихожую и начала кружиться, раскинув руки. Смутно помню, что там, кажется, были и другие дети, но меня смутил и устыдил разговор взрослых в гостиной. Кто-то спросил, приучена ли я к туалету. Мать ответила, что я все еще мочу трусы.

Не знаю, почему это сработало, но я начала лучше сознавать, что хочу в туалет. В это же время у меня был сильный страх перед туалетом. Я терпела, сколько могла – казалось, целую вечность, и бежала к горшку, только когда чувствовала, что иначе обмочусь на месте. «По-большому» порой не ходила несколько дней – до тех пор, пока меня не начинало рвать желчью. Потом я начала бояться еды. Ела только заварной крем, желе, детское питание, фрукты, листья салата, мед и куски белого хлеба, посыпанные сверху разноцветным сахарным горошком, как в моем сне. В сущности, я выбирала то, на что мне нравилось смотреть или что вызывало какие-то приятные ассоциации. Салат – это то, что едят кролики. Пушистых кроликов я любила. И ела салат. Еще я любила цветные стеклышки. Желе похоже на цветные стеклышки – и я любила желе. Как и другим детям, мне случалось есть грязь, цветы, траву, куски пластмассы. В отличие

от других детей, цветы, траву, древесную кору и пластмассу я ела и в тринадцать лет. Действовали все те же старые правила. Если мне что-то нравилось – я старалась с ним слиться. Я охотно впускала в себя неодушевленные предметы – но не людей.

Примерно в три года у меня появились признаки истощения. Я не превратилась в скелет, но была иссиня-бледной, и от любого прикосновения на коже у меня возникали синяки. У меня обильно выпадали ресницы и кровоточили десны. Родители решили, что у меня лейкомия, и сделали анализ крови. Доктор взял у меня кровь из мочки уха. Я не сопротивлялась. Доктор дал мне разноцветную картонку, и она меня очень заинтересовала. Еще мне проверили слух, потому что, хоть я и повторяла все, что мне говорили, но вела себя, как глухая. Родители могли кричать и грохотать, стоя прямо у меня за спиной – а я и глазом не моргала. «Мир» не мог меня достать.

*Казалось, сквозь душу проносится шепот:*

*Все есть ничто, ничто есть все,*

*В жизни – смерть, в смерти всего не истинного – жизнь.*



Чем лучше я сознавала мир вокруг себя, тем больше его боялась. Другие люди были моими врагами, они старались добраться до меня – это было их оружие; почти все, кроме дедушки с бабушкой, папы и тети Линды.

До сих пор помню, как пахло от бабушки. Бабушка была мягкой и морщинистой, в шерстяной кофте в крупную вязку – в дырочки на кофте я просовывала пальцы. На шее она носила несколько цепочек. У нее был хриловатый смеющийся голос, а пахло от нее камфарой. Я снимала камфару с полок в супермаркете; и двадцать лет спустя я покупала эвкалиптовое масло, бутылку за бутылкой, и разбрызгивала его по комнате, по всем углам, изгоняя все, кроме чувства покоя и уюта, связанного для меня с этим запахом. Еще собирала обрывки цветной вязаной ткани и просовывала сквозь них пальцы, чтобы спокойно уснуть. Люди, которые мне нравились, были для меня тем

же, что и их вещи, а эти вещи (или похожие на них) – моей защитой от других вещей, которые мне не нравились, то есть других людей.

Я приучилась хранить эти «обереги» и возиться с ними; словно магические заклятия, они защищали меня от тех, кто может ворваться в мой мир, если я их потеряю или с ними расстанусь. Это было не безумие, не галлюцинации – безобидная фантазия, связанная с моим всепоглощающим страхом оказаться уязвимой и беззащитной.



Дедушка угощал меня изюмом и печеньем, отламывая по кусочку. Для всего вокруг он придумывал особые названия – знал, чем меня порадовать. Он понимал мой мир – и потому мог увлечь меня своим. У него были жидкие ртутные шарики. Падая, они делились на несколько маленьких шариков, которые начинали гоняться друг за другом. Были механические собачки с заводом на две минуты – если их завести, два скотч-терьера тоже начинали гоняться друг за другом. Такая погоня была безопасной. Безопасно общаться через вещи. Безопасно придумывать для всего особые имена, создавая «наш маленький мирок». Каждое утро, еще в сумерках, я вставляла и бежала во флигель, где жил дедушка.

Однажды я пришла туда. Но он меня не заметил. Дедушка лежал на боку, и лицо у него было багровое, в пятнах. Он так и не проснулся – никогда. А я не могла ему этого простить – до двадцати одного года, когда до меня вдруг дошло, что люди умирают не по собственному желанию. Тогда я заплакала и долго не могла остановиться; чтобы это понять, мне понадобилось шестнадцать лет.



Отец исчез из моей жизни, когда мне было около трех лет. До того он, как и дедушка, завораживал меня тем, что каждой вещи давал особое имя. Лису он звал Сирилом, кота – Брукенштейном, кровать – Чарли Уормтоном, а меня – Полли-опоссумом или мисс

Полли. Так он меня называл, потому что до четырех лет я бессмысленным эхом повторяла все, что слышала, – как попугай.

Отец знал, что меня очаровывают разные причудливые и яркие штучки. Каждую неделю он приносил что-нибудь новенькое – и каждый раз нагнетал интерес, спрашивая, знаю ли я, сколько чудесного и удивительного таится в этих вещичках? Я сидела у него на коленях, не сводя глаз с новой вещи и слушая его рассказ, как будто грампластинку со сказками. В голове у меня звучало вступление: «Это сокровищница сказок, и с вами я, сказочник. Сегодня мы почитаем историю о...» Эти сокровища я храню и сейчас, двадцать три года спустя. Отец – тот, который был – меня покинул. Много лет спустя я нашла его – другого: он мне понравился, но еще несколько лет понадобилось мне, чтобы осознать, что тот папа и этот папа – один и тот же человек.



Я была мягкой, а мать моя – жесткой и безжалостной; хотя, как ни странно, в замкнутости и нелюдимости мы с ней были схожи.

Был у меня и старший брат. Думаю, он стал для нее «единственным» ребенком. Она хотела отдать меня в детский дом. Помню, как много раз она пыталась запихнуть меня в машину, а я в ужасе, в истерике сопротивлялась и лупила по машине ногами. Зная, на что еще способна мать, я думала: если отсылка в детдом – даже для нее крайняя мера, значит, это какая-то нестерпимая мука, ад на земле.

Быть может, ей хотелось иметь дочь. Брата она одевала поочередно то как мальчика, то как девочку, и в таком виде вывозила в коляске. Оба мы были симпатичными детьми, но он умел «вести себя нормально» – с ним было не стыдно гулять.

Не сомневаюсь, что отец разрушил ее планы, когда передал ответственность за меня дедушке и бабушке. Быть может, они старались до меня достучаться и не оставляли надежду, когда мать давно ее оставила. Так или иначе, отец за это заплатил. Отношения их с матерью так и не восстановились. Мать запретила ему разговаривать со мной, вообще иметь со мной дело. Когда мать открывала рот – стены тряслись. Не услышать ее не смог бы даже глухой.





Все считали, что к ней и к моему старшему брату отец был так же равнодушен и бесчувствен, как она ко мне. Так или иначе, семья раскололась – ровно посередине спирали, ведущей вниз, к крутому спуску в геенну огненную.

Раскол отразился в прозвищах, которые дали мне родители. Для отца я была Полли. Для матери Долли, «кукла» – и она сама объяснила мне, что это значит: «Ты была моей куклой, и я могла выместить на тебе злость» – это она повторяла не раз. Получилась цепная реакция. Напряжение нарастало: он унижал и обижал ее – она унижала и обижала меня. Оба они нашли для себя способы бегства, которым можно было предаваться много лет, оставляя за собой такие разрушения, с какими не могло справиться волшебство моего маленького замкнутого мира.

Я никогда не обнимала ни отца, ни мать, и меня никто не обнимал. Я не любила, когда кто-то подходит ко мне слишком близко или, тем более, до меня дотрагивается. Прикосновений я боялась, чувствуя, что всякое прикосновение несет в себе боль.



Хоть у матери и не было подруг, перед которыми можно похвастаться, ей хотелось гордиться тем, как выглядят ее дети. Поэтому она расчесывала мне волосы. У меня были длинные вьющиеся белокурые волосы, вечно спутанные – и она со злобой продиралась сквозь них расческой.

Тетя Линда любила расчесывать мне волосы: она прикасалась к ним так легко, что меня это даже раздражало. «Тебе не больно?» – спрашивала она, как будто я фарфоровая кукла. «Сильнее!» – требовала я. Она не продиралась сквозь колтуны, а аккуратно их распутывала; это могло продолжаться часами – а я сидела и просто наслаждалась этим ощущением. «Волосы у тебя сказочные, – говорила она, – такие шелковистые, кажется, дунь – и улетят!» Мне нравились выбранные ею слова – я представляла, каково это на ощупь. Много лет

я играла со своими волосами, теребила их и жевала. Когда хотела выразить симпатию к другому ребенку, касалась его волос – это был единственный возможный для меня дружеский физический контакт.

*Я лежу, окруженная прозрачными жгутиками.*

*Они охраняют мою постель.*

*Ведь жгутики – мои друзья.*



Люди вечно говорили, что у меня нет друзей – а на самом деле мой мир был полон друзей. Друзей, куда более волшебных, надежных, предсказуемых и реальных, чем другие дети, друзей, с которыми я могла ничего не опасаться. Это были создания моих собственных фантазий, где мне не требовалось себя контролировать, или предметы, животные, природа, которые ничего от меня не хотели – просто *были*. Были у меня и друзья, не принадлежащие к нашему физическому миру: жгутики – и пара зеленых глаз под кроватью по имени Уилли.

Я боялась засыпать, всегда боялась – я научилась спать с открытыми глазами и так спала много лет. Наверное, выглядела я при этом не слишком нормально. Здесь уместнее было бы слово «навязчивый» или «преследуемый». Я боялась темноты, хотя ранние сумерки и рассветы любила.

Самые ранние мои воспоминания о жгутиках относятся ко времени, когда я начала спать во «взрослой» кровати. Должно быть, это было уже в новом доме, хотя в моем сознании он смешивался со старым. В старом доме все мы жили в нескольких проходных комнатах, в новом – нет, и это меня беспокоило. Мне нравилось знать, где находятся все – в том числе и родители. Прежде чем заснуть, надо было убедиться, что все на своих местах и уже спят. Я лежала в кровати, недвижимая, не издавая ни звука, вслушиваясь в приглушенный домашний шум за стеной – и в этот миг увидела, что надо мной парят в воздухе прозрачные жгутики.

Это были крошечные создания, прямо у меня над головой, похожие на пряди волос (видимо, из этого образа они и родились в

Конец ознакомительного фрагмента.  
Для приобретения книги перейдите на сайт  
магазина «Электронный универс»:  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru).